

Евгения Малин

Штеница

12+

Евгения Малин

Штеница

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=56568210

SelfPub; 2020

Аннотация

Июнь 1942. С начала войны прошел год, советские войска сражаются за Киев и Севастополь. Далеко в тылу, в провинциальной северной глубинке, героиня рассказа мысленно вновь проживает все то, чем был для нее этот первый военный год.

Моей бабушке посвящается

Летом есть хотелось больше – зимой еще оставались запасы картошки, присланные по осени из деревни матерью. Ее тоже сэкономили, съедая в день по одной, за обедом, но в мае и она кончилась – остатки разрезали пополам и посадили на заднем дворе аптеки, устроив там грядки. Почти месяц уже прошел.

Лида заняла место в конце очереди, по привычке пересчитав стоявших перед ней человек – двадцать восемь. Очередь стояла за супом, штиницей – жидкой похлебкой из перловой крупы и оставшейся с зимы подвядшей кислой капусты. Со всем не той, что варила когда-то мать – из печи, густой, наваристой, ароматной, сдобренной луком, морковью и постным маслом – но радовались и этому. На самом деле, если б не тарелка жидкого супа, что выдавали через день в товариществе пайщиков за углом аптеки, пришлось бы совсем туго. Особенно сейчас, в июне.

Год назад они не думали, что война затянется надолго, и объявление из громкоговорителя восприняли со свойственным юности оптимизмом – подумаешь война, через пару месяцев кончится. Вон, финская была недавно, и что? Быстро кончилась. Вечером они готовились к экзаменам, пили горячий чай с халвой и хлебом – любимым их довоенным лакомством – и Сара говорила, что ее брата Борю, выпускника артиллерийского училища, уже завтра командируют на фронт,

а Лиза рассказывала про знакомых ребят из фельдшеро́в, записавшихся в добровольцы – те радовались, что выпускные экзамены им сдавать не придется.

На следующий день, зажав в зубах ветку сирени, к ним в окно влез Ленька, незадачливый Фанин ухажер, упорно звавший ее замуж и раз за разом получавший отказ. Переодевавшаяся Маруся подняла крик и спряталась за дверцу шкафа, а Ленька отказывался уходить и обещал сидеть на подоконнике до прихода милиции, если Фаня не согласится пойти с ним на прогулку. Ленька, неисправимый романтик и весельчак, учился на агронома и должен был отправиться по распределению в какое-то отдаленное село, откуда в распутицу не то что на телеге, на тракторе было бы не выехать. Фане он нравился, но был двумя годами моложе, и всерьез она его не воспринимала, а над предложениями посмеивалась – хотя в кино, на танцы и совместные прогулки ходила исправно, и потому, поломавшись для приличия, выставила кавалера обратно в окно, надела лучшее свое платье, переплела косу, уложив ее короной вокруг головы – и ушла.

Вернулась она с заплаканными глазами и штампом в паспорте. Ленька записался в добровольцы еще накануне, приписав себе год сверху: он рвался за приключениями – военные подвиги казались ему куда увлекательней однообразного прозябания в глухой деревне. Проверять истинный возраст, равно как останавливать и ждать его было некому: парень был из детдомовских – родители сгинули где-то в конце

гражданской, он их даже не помнил. В тот вечер он в привычной своей манере убеждал Фаню, что настоящему идадьго просто необходима ждущая его Дульсинья или Пенелопа – где имен только набрался таких мудреных? – чтоб сложить к ее ногам плоды своих побед. А потом, вдруг внезапно посерьезнев, сказал ей, что деньги никогда не бывают лишними и ему будет приятно думать, что она хоть чуть-чуть, да ждет его, что если он вернется, развестись они всегда успеют, а если не вернется – значит, такова судьба.

Смутное осознание того, что это не просто война, которая скоро закончится, а вместе с тем страха и тревоги к ней, Лиде, пришло через неделю, во время экзамена по химии. В кабинет постучался преподаватель математики и по совместительству муж химички – та вышла, но сквозь приоткрытую дверь класса было слышно, как он громко (жена была глуховата) просил собрать обувь покрепче, ложку побольше да белья похуже – утром ему пришла повестка о мобилизации. Это событие и взволновало Лиду – стариков обычно не призывали. Хотя, математику было вряд ли больше пятидесяти, не такой и старик – но когда тебе девятнадцать, все, кто старше тридцати, кажутся стариками.

Никого из своих преподавателей, одногруппниц, соседок по комнате после окончания фармшколы Лида больше не видела. Экзамены спешно завершили, тут же распределили выпускников по местам работы – и все разъехались – быстро, даже не успев толком попрощаться и оставить обратные ад-

реса для писем, да и не знали тогда они еще своих адресов. Лиду направили сюда, в городок Ш., райцентр на юге области. Ей можно сказать, повезло – до родной деревни добраться было часа четыре на почтовой попутке, только сделать это удалось лишь раз, вскоре после приезда. Здесь же она и познакомилась с Зиной и со всей остальной их компанией. Зина была родом из Архангельска и уже год работала провизором в аптеке, когда Лида приехала в город по направлению. Жила тут же, в комнатке при аптеке, на вышке – к ней Лиду и подселили. Они как-то сразу подружились – делали все вместе, делили радости и беды, и хлеб, и тарелку супа. В августе сорок первого Зине тоже дали короткий отпуск – съездить домой за сестрой десятью годами ее моложе – ту было не с кем оставить: отец ушел на фронт в июле, мать вызвали на оборонные. В декабре мать вернулась с работ, но писала, что в Архангельске есть совсем нечего, нормы выдачи хлеба едва ли больше блокадных ленинградских, с транспортом тоже были трудности – так они и жили втроем: она, Зина и Марта.

Лида часто вспоминала беззаботное довоенное время: дребезжание архангельских трамваев, запах ваксы, которой начищали парусиновые туфли, их комнату в общежитии на пятерых – и думала о том, где теперь модница Леля; где вечно все про всех знающая Лиза; где красавица-блондинка Сара, похожая, как им всей комнатой казалось, на артистку Любовь Орлову; где Фаня с ее густой темной косой – но, конеч-

но, не знала, где они. Война затянула их в свою воронку, за-вертела, разбросав кого куда – и не отыщешь теперь. Лида вспомнила их традиционный вечерний чай с халвой и хлебом – и вдруг на мгновение необыкновенно ясно ощутила все это: веселую атмосферу теплой комнаты, густой бодрящий запах крепкого чая, сладко-маслянистый вкус рассыпчатой халвы, теплый аромат ноздреватого белого хлеба – под ложечкой засосало еще сильнее. Ничего этого теперь не было: ни прежних подруг, ни чая, ни халвы, ни хлеба. Осталась лишь фотокарточка в альбоме с короткой надписью: «Фотографировались комнатой. 27 апреля 1940 г.»

...На раздаче заменили бак с супом. Перед Лидой осталось еще человек двадцать. Она снова пересчитала: двадцать, ровно. Как-то раз, чтоб скоротать время в очереди, Лида придумала себе такое занятие: думать о чем угодно, только не о еде – иначе время тянулось невыносимо медленно, чем ближе к концу очереди, тем есть хотелось сильнее, а минуты, казалось, превращались в часы. Поначалу получалось не очень, мысли постоянно возвращались к тарелке супа, но потом способ подействовал – и время пошло вправду быстрее. Думалось о разном: то о том, что на днях должен прийти пароход с медикаментами на квартал, а потому у них будет много работы, больше, чем обычно – но это даже хорошо; то о чулках, ожидающих штопки; то о последних сводках с фронта – немцы наступали на Харьков и Севастополь.

От последних мыслей на душе становилось муторно и

тяжко. Война забирала лучших. Мужу Лидиной сестры было всего двадцать четыре – он погиб почти сразу, в июле; похоронка пришла в августе, а письмо от сестры Лида получила уже в сентябре. Это была первая смерть от войны, с которой ей пришлось столкнуться вот так, лицом к лицу. Лида читала письмо – и не верила, не хотела верить, строчки на бумаге казались искусственными, начертанными чьей-то чужой рукой, а не привычным округлым почерком Вали, это не могло быть правдой – но было ею: такой молодой, полный жизни, красивый, словно сошедший с экрана, Сергей не мог погибнуть – но погиб. Это было той новой реальностью, той правдой, в которой им всем теперь предстояло жить. Строчки расплывались перед глазами – Лида вспоминала, как в феврале, будучи на практике, она гостила у Вали и Сергея в Соколе, какой они были счастливой парой и как им было весело вместе, как ходили на танцы и в гости – и принимали гостей у себя; как Сергей пытался знакомить ее, Лиду, со своими друзьями – мол, такая невеста пропадает – и как она жутко стеснялась в ответ.

В январе от Вали пришло письмо с известием – в декабре сестра родила сына. Племянника Лида, конечно же, не видела, и долго еще не увидит, до конца войны наверно, разве что на фотокарточке – отпусков нет. В том же письме сестра писала, что сокольских Лидиных подружек, товарок по практике Марусю и Соню, призвали на фронт, кажется, в состав санбигады. Соня с Марусей были родом с Кубани, из раску-

леченных, так и оказались на Севере – Север их принял, как принимал, пожалуй, всех.

Лида помнила их мягкую южную речь, черные глаза и густые, по моде коротко остриженные темные волосы, которые Маруся любила завивать разогретыми на плите щипцами, а Соня – укладывать фигурной волной, смочив предварительно настоем льняного семени. Лида попыталась представить их в военной форме – и не смогла. В ее памяти они так и остались в вышиванках и ярких платках, на южный манер повязанных узлом вперед, как на подаренной фотографии. Однажды они нарядились так на самодеятельный концерт в честь дня Советской Армии в клубе, где выступали с казачьими народными песнями – пели они в самом деле отлично, а народные костюмы необыкновенно им шли.

О своей прежней кубанской жизни, как и о первых годах после высылки девчонки говорили мало, но из обрывочных рассказов подруг становилось ясно, что пришлось им несладко. В ее родной деревне ссыльных не было, но Лида хорошо помнила начало коллективизации. Богато они не жили, но отдавать в хозяйство единственную лошадь и расставаться с коровой Зорькой было невыносимо жалко. Мать плакала, отец же твердо настаивал на вступлении в колхоз и убедил односельчан последовать его примеру – как оказалось, был прав. В семье эту тему никогда не обсуждали, но из их деревни никого не арестовали и не выслали.

Лида пересчитала очередь. Шестнадцать. Господи, как

есть-то охота. Терпеть надо. Мама часто говорила: «Бог терпел, и нам велел», хоть в их семье религия была не в почете. Отец был коммунистом, уважаемым в селе человеком: работал на почте телеграфистом, первым установил в селе радиоприемник – и зимой часто по полдеревни набивалось к ним в избу «послушать радио». Маме повезло: отца по инвалидности, плохому зрению, на фронт не взяли – остался с ней, в деревне. И старший брат, Анатолий, ушедший воевать полгода тому, писал исправно, что благополучен. Этим летом, в июле, исполнялось восемнадцать среднему, Виктору, но пока повестка еще не пришла – и брат, по маминым письмам, заканчивал школу и помогал в колхозе.

Посевная в этом году выдалась сложная: в деревне одни старики, дети малые да бабы с подростками. Лошадей нет – все на фронте, на деревню две старых клячи, которые едва шевелятся, пахать не на ком, дошли до того, что впрягли коров. В колхоз перед самой войной прислали трактор, но топливо для него было не всегда, а единственный тракторист ушел на фронт, едва успев перед тем обучить одного из местных ребят. В какой-то момент машина отказала, и никто не знал, что с ней делать. Ребята рвались разобрать и посмотреть, бабы едва их отговорили – не дай бог, сломают, окаянные, беды не миновать – сразу под суд. Вызвали механика из города, ждали чуть не месяц, тем временем и посевная закончилась. Трактор в итоге починили – механик прибыл все-таки, им оказалась совсем молодая девчонка Лидино

примерно возраста.

Сколько там, впереди? Одиннадцать. Интересно, сегодня повезет? Когда принесли новый бак, оставалось двадцать человек. Бака хватало на двадцать порций, если разливала тетя Люба, – и на двадцать две, если тетя Груня. Жаль, отсюда не видно, кто сегодня на раздаче, хорошо, если б тетя Люба. Тогда к ее очереди как раз принесут новую кастрюлю – и достанется порция погуще. Когда сливали остатки со дна, штиницы доставалось чуть больше, но выходила практически одна вода, и толку от нее было мало.

Поскорее бы июль! Они с Зиной и Мартой непременно пойдут рано утром в бор за город, где насобирают земляники – и может быть, им даже повезет купить молока в соседней деревне. Тогда они устроят настоящий пир! Как зимой, когда ели мороженую клюкву с глицерином и заедали остатками пайки хлеба. И еще у них было по целой картошке. Клюква с глицерином казалась сладкой, хоть от нее потом щипало язык и немного болел живот. Но болел он, скорее, от голода.

Только молоко сейчас вряд ли купишь – крестьянам самим не хватает. Казалось бы деревня, свое хозяйство, пусть небольшое, но все же есть, можно прокормиться – а голод временами хуже, чем в городе. Мама с оказией писала, что личные нормы сдачи продовольствия не оставляют ничего для себя, все молоко приходится оставлять на масло, чтобы выполнить норму; картошки тоже едва хватает на семена – все сдано, про хлеб и говорить нечего – та же самая пайка,

что в городе. Ребята ищут на полосе прошлогоднюю картошку, мерзлую, подгнившую, которую потом промывают и запекают в печи. У кого в хозяйстве хотя бы две коровы, или земли побольше, ещё как-то справляются, даже выменивают что-то на вещи – одежду или обувь, которые нынче кроме как с рук не достать, но таких мало.

На прошлой неделе соседка из дома напротив, зайдя за нашатырем для мытья окон, рассказывала, как намедни ходила менять вещи на картошку в деревню за рекой и вернулась в одной нижней юбке: ничего из предложенного на обмен хозяйке не понравилось, а вот юбка, в которой пришла соседка – приглянулась. А что ты будешь менять, когда у тебя всего два платья да одни парусиновые туфли, и те штопаные? Но так хочется верить, что им непременно повезет: они собирают земляники, купят по кружке молока – и устроят себе маленький праздник. Как же это будет вкусно – молоко с земляникой!

Сколько там еще? Восемь уже, и на раздаче тетя Люба. Хорошо-то как! А еще хорошо, что сейчас лето. Июль уже совсем скоро, ягоды пойдут, совсем чуть-чуть подождать осталось. Летом и крыс поменьше. Зимой их было жуть как много. Они с Зиной и Мартой поначалу боялись конечно – визжали, залезали на кровати и стулья с ногами. Крысы поперву тоже от криков убегали – потом освоились, свободно стали расхаживать по комнате, забираться на стол и кровати в поисках съестного, картошку в подполе грызли. Больше у них

ловить было нечего: большая часть пайкового хлеба съедалась практически сразу, немного оставалось на «обед», тогда же съедали и по картошке с кожурой вместе, спать ложились обычно голодными.

Погрызенную картошку потом промывали в нескольких водах (на счастье, колодец был рядом, в аптечном дворе), обдавали кипятком, вырезали отметины крысиных зубов, остальное варили или запекали в золе. Траченные крысами срезки выкидывали чуть не со слезами: голодно было жутко, но заболеть – страшнее. О том, что крысы – известные переносчики всякой опасной заразы, часто неизлечимой, им на уроках в фармшколе подробно рассказывали.

Больше боялась Зина за сестру: картошку старались почистить и поставить на огонь, а срезки выкинуть в печь до возвращения Марты из школы, чтоб та ненароком их с голоду не съела. Случай такой уже был – очистки не успели сжечь, и Марта выхватила их у Зины едва не из-под носа. Отбирали с боем, Марта после этого на Зину два дня дулась и не разговаривала. В эту страшно холодную и голодную первую военную зиму (сейчас Лида уже не сомневалась, что далеко не последнюю) картошка была на вес золота, и выбрасывать еду девятилетней Марте казалось ужасным преступлением. Это после того случая они придумали есть клюкву с глицерином, как раз и помирились.

Как же они радовались, когда в марте начали выдавать штиницу! Выдавали ее через день, по тарелке. Они специ-

ально с Зиной записались на разные дни: треть тарелки на нос не густо, конечно, зато каждый день. Штинуцу наливали в судок, накрывали крышкой и заворачивали в теплый платок, чтоб донести до дому горячим. Пока была в запасах картошка, они чувствовали себя едва не буржуями: до конца апреля и хлеб был лучше, сытнее – последние пару месяцев в нем явно больше целлюлозы, чем муки. Но и до апреля примесей хватало.

Крыс, впрочем, это не останавливало. Сколько с ними ни боролись, ни ловили и ни травили, существами они оказались живучими и мстительными. Однажды зимой, как-то вскоре после Нового года, Лида кипятила белье на плите и собралась было вынимать его уже из чана, как одна из крыс забралась на стол, привлеченная, видимо, запахом хлеба, накрытого оловянной миской и оставленного на обед. Лида схватила ковш, черпнула из стоявшего на плите таза кипятка с растворенным в нем щелоком воды и плеснула в крысу. Та с писком отскочила и скрылась, скудный Лидин обед был спасен. А спустя некоторое время Лида проснулась ночью от укуса, прямо в переносицу. В темноте было не разглядеть, та самая это была крыса или нет, но Лида не сомневалась, что та, когда обрабатывала ранку перекисью при свете чадающей керосинки и ее передергивало. Крыс она уже не боялась, но от отвращения и брезгливости деться никуда не могла.

Но больше всего от этой зимы запомнилась Лиде встреча Нового года. Казалось бы, война, голод, холод – а они встре-

чают Новый год, весело встречают! Все молодежь, их тогда одиннадцать человек за столом собралось. Окна газетами заклеены, завешаны старыми одеялами и покрывалами, чтоб свет на улицу не проникал, горит над столом электрическая лампочка без абажура. Кто-то притащил бутылку спирта с довоенных еще запасов, кто огурцов соленых. К хлебу в тот день не притрагивались, берегли до вечера. Они с Зиной всю последнюю неделю до Нового года картошку только Марте варили, откладывая свою долю – готовились к празднику. И они пили спирт, и ели хлеб, и картошку, и огурцы, и танцевали под пластинки, которые ставили на стареньком патефоне, и пели песни под гармони, принесенную разбитным Колькой.

С тех пор их компания поредела. В феврале проводили на фронт Шуру и Ваню, в апреле – Любу Ежову. Ребята попали на Карельский перешеек, где Ваня вскоре пропал без вести. С Шурой пока было все благополучно, в письмах к сестре Тоне он регулярно передавал сердечные приветы им всем и уверял, что победа придет несомненно, главное – в нее верить. Любу отправили в разведшколу – она была учительницей немецкого и хорошо знала язык; больше о ней они ничего не знали. Сегодня им предстояли ещё одни проводы: на фронт уходил гармонист Коля. Лида старалась не грустить, следуя негласному правилу их компании: день проводов был праздником – быть может, последним для того, кто уходил, а потому – пой песни, танцуй, веселись, но не показывай своих слез. Но мысли невольно возвращались к Новому году, когда

все они ещё были вместе. Марта на них с Зиной тогда страшно обиделась – ее, конечно, на праздник не взяли, оставили у соседки, тети Паши – и грозилась пожаловаться в письме маме, что Зина гуляет с парнями.

Очередь подходила к концу – перед Лидой оставалось два человека. Тетя Люба разливала остатки со дна и в очередной раз меняла бак с супом. Солнце приятно грело спину, на улице, как и год назад, цвела сирень: короткое северное лето вступало в свои права. Лида вновь вспомнила Леньку, сидящего на подоконнике с сиреневой веткой в зубах – и в этот момент она, наверно, впервые для самой себя поверила, что война непременно закончится, закончится победой! А потому они вечером начистят довоенной ещё ваксой свои штопанные парусиновые туфли, нагладят старые платья – и несмотря на то, что сегодня провода, будут радоваться – своей юности, белым ночам, лету, солнцу, теплу, пению птиц, тому, что сегодня они вместе; и Колька возьмёт свою гармонь – и они будут петь песни, и плясать кадрили, или румбу, или даже фокстрот – вопреки войне, разрухе и голоду, не глядя на заклеенные газетами окна домов, несмотря на всю зыбкость и неустойчивость их мира...

– А, это ты, Лидушка, здравствуй, – раздался над ухом голос тети Любы. – Дай-ка я тебе уже погуще налью, вот только новую кастрюлю принесла.